Реплики

Анна Шиян

В ПЕРВУЮ очередь хотелось бы выразить благодарность всем участникам, особенно организаторам этого проекта. Я с большим удовольствием прочитала представленные тексты. Главными в них для меня оказались не размышления над Финковой критикой Гуссерля, а те образы феноменологии, которые имеются в нашем философском сообществе.

Как и сто лет назад, феноменология понимается различным образом и с разных точек зрения. Вспомним, что после выхода первой книги «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии» многие мюнхенские коллеги и ученики упрекали Гуссерля в субъективизме и в забвении окружающего мира и окружающей действительности. Но в это же время русский философ Густав Шпет и, например, немецкий философ Пауль Линке¹ увидели в первой книге «Идей» путь к постижению действительности в ее сущности и сущностных отношений. Подобную картину можем наблюдать и сейчас. Михаил Маяцкий полагает, что «мир Гуссерлю представляется гносеологической проблемой» и что ему так и не удалось покинуть философию чистой субъективности. А Виталий Куренной, напротив, считает, что Гуссерль так и не понял своего главного открытия — субъективности, поскольку был нацелен на постижение сущностного априори, выступающего в качестве предельного основания мира.

Каждая из этих точек зрения имеет свои основания. Одновременно присутствие этих, казалось бы, взаимоисключающих точек зрения даже в довольно узкой нашей феноменологической тусовке объясняется тем, что в гуссерлевских текстах и порой в одной и той же работе проблематики сознания (познания) и сущностных взаимосвязей действительности присутствуют независимо друг от друга (например, 2-е и 5-е «Логические исследования», первая книга «Идей») и исследователь гуссерлевской феномено-

1. *Linke Paul F.* Das Recht der Phänomenologie, eine Auseinandersetzung mit Th. Elsenhans // Kantstudium Bd. XXI, H 2 u. 3 (1916).

логии может концентрироваться на одном без особого ущерба для другого. Наиболее перспективным мне представляется совмещение этих позиций, что, как мне кажется, вычитывается из текста В. Куренного. Да, для Гуссерля интерес к миру немислим без дескриптивного исследования того опыта сознания, в котором нам даны предметы мира. Но являются ли сущностные закономерности предметностей действительности независимыми от сознания? Наиболее продуктивным представляется ответ с точки зрения «позднего» Гуссерля. Все сущностные закономерности укоренены в априори жизненного мира, которое само формируется в процессе исторического развития субъективности. Под субъективностью уже выступает не только опыт сознания, но и опыт деятельности, коммуникации, телесности, языка, благодаря которому от поколения к поколению передаются типовые различия (например, различие своего и чужого, вещей и живых существей и т. д.), в которых нам дается индивидуальный жизненный мир.

К сожалению, различие индивидуального опыта сознания и действие исторической субъективности недостаточно четко зафиксировано у Гуссерля. Многочисленные дескрипции сознания легко сбивают с толку и уводят в сторону от вопроса, что и как существует в мире. Они также создают псевдопроблемы, такие как проблема данности/перводанности, которая вслед за Финком приковала внимание многих участников дискуссии. Феноменологический анализ (в узком смысле) начинается с фиксации данности нашего опыта, у Гуссерля обычно — с данности опыта сознания. Но как не бывает чистого опыта, который всегда нагружен предпосылками и конкретными условиями его реализации, так не бывает и чистой, свободной от теоретической нагруженности данности этого опыта. С одной стороны, Гуссерль с этим вполне солидарен, но, с другой, он ведет речь о чистом «комплексе ощущений», в многостраничных штудиях по сознанию-времени пытается описать изначальную данность ощущений и т. д. Эти поиски «чистой данности» являются позитивистским отзвуком в феноменологии Гуссерля. И когда Михаил Белоусов (с чьим текстом я в основном солидарна) пишет, что Гуссерль пытается отделить данное от его интерпретации, он, так же как и Гуссерль, попадает в ловушку позитивизма, поскольку как будто уверен, что существует «чистая», свободная от интерпретации данность опыта. Задачу феноменологии в отношении исследования данности можно понимать (и это также присутствует у Гуссерля) как рефлексивное описание данности опыта с целью выявления в ней ранее не замеченных различий и определенностей,

а также обоснование того, почему мы так, а не иначе видим данное, что и означает выявление предпосылок нашего опыта, которые имеют социально-историческую природу. Постановка под вопрос «само собой разумеющегося» вовсе не означает признание его мнимости и необходимости разрушения с целью замены на чистую данность. Речь идет, скорее, о выявлении того, чем обусловлено это «само собой разумеющееся», и о прояснении того, что под ним понимается.

По сути априорные сущностные различия и предпосылки и играют роль того самого понятия, которое, по Финку, должно предшествовать всякому опыту. Однако ни о какой абсолютизации «наброска» у Гуссерля речь не идет. И сомнения Андрея Паткуля по поводу скрещивания Гуссерля и Гегеля вполне оправданны. Более того, все воззвания Финка о необходимости введения спекуляции, понятой как абсолютное понятие Гегеля, закрывают все перспективы феноменологического проекта в XXI веке. И не случайно Евгения Шестова пытается дистанцироваться от гегелевского понимания понятия у Финка и обращается к проблематике языка и основных понятий феноменологии, которая представлена в статье Финка «Оперативные понятия феноменологии Гуссерля». Шестова, обращая внимание на самостоятельную активность языка, не замеченную Гуссерлем, показывает тем самым одну из возможных линий развития феноменологии сегодня.

В ряде текстов (у Георгия Чернавина, Михаила Маяцкого, Григория Юдина) представлено экзистенциальное развитие феноменологии, которое также намечает одну из линий развития феноменологии в наше время, но обращаться к этой теме, увы, здесь нет возможности. А проблематику рецепции феноменологии, представленную Анной Ямпольской на примере Франции, дополняет сама наша дискуссия.

Михаил Белоусов

Практически все основные тезисы, высказанные участниками дискуссии, представляются мне обоснованными и весьма убедительными. В своей реплике я позволю себе коснуться лишь некоторых нюансов, имеющих, на мой взгляд, существенное значение в контексте обсуждения «Элементов критики Гуссерля».

Несомненно, текст Финка важен в качестве примера самокритики феноменологии. Феноменология, подобно описываемым ею же феноменам, существует лишь постольку, поскольку выходит за свои пределы. Соответственно, она должна преодолевать

не только наивность «естественной установки», но и собственную наивность — один из решающих шагов в этом направлении сделал как раз Финк (в частности, тематизировав проблему «оперативных понятий»).

Однако способ осуществления самокритики в обсуждаемом тексте (в отличие от многих опубликованных работ Финка, содержащих эксплицитную или имплицитную критику Гуссерля) оказался не столь уж эффективным. Причина очевидного, с моей точки зрения, провала, конечно, не в том, будто бы Финк замахнулся на священное учение отца-основателя с его незыблемыми принципами. Неудачен, скорее, избранный Финком метод истолкования феноменологии Гуссерля сквозь призму общеизвестных фактов, принятых в конечном счете за нечто самопонятное.

Всем нам известно, что Гуссерль пришел в философию «со стороны», что идея интенциональности была им заимствована из психологии Brentano, что первоначальный импульс феноменологии был задан проблемой оснований математики, что формирование ее осуществлялось в условиях господства позитивизма и т. д. и т. п. По существу стратегия Финка в «Элементах» сводится к неправомерному превращению подобного рода фактов в критические аргументы. Но если абстрагироваться от обстоятельств и обратить внимание на сами возражения, то нетрудно убедиться, что говорят они очень мало и, по-видимому, не столько раскрывают, сколько затемняют для нас истинные мотивы критики Финка.

Так, упрек в несоотнесенности с традицией в смысле отсутствия систематической рефлексии в отношении истории философии можно с тем же успехом адресовать Декарту или Канту. У них мы найдем и «обывательское» воззрение (которое Финк считает одним из признаков философского «плебейства» Гуссерля), согласно которому многообразие философов указывает на тот факт, что философия как наука еще не состоялась, в силу чего необходимо «начать все сначала» и создать, наконец, ее «истинный метод» *ex nihilo*. «Внефилософский постулат» строгой научности и принцип беспредпосылочности обнаруживаются во всех классических философемах — от Декарта до спекулятивных систем немецкого идеализма. В следовании им проявляется скорее как раз принадлежность Гуссерля нововременной философской традиции, нежели «выпадение» из истории.

Если указанные принципы не свидетельствуют о собственном «нефилософском» происхождении, то что о нем говорит? Тексты Гуссерля наотрез отказываются занимать сторону обвинения на этом процессе о контрабандном протаскивании нефилософских

предпосылок в философские рассуждения². Тогда тезис о «нефилософских предпосылках» сводится лишь к фиксации эмпирических фактов интеллектуальной биографии Эдмунда Гуссерля.

Впрочем, отчасти возражая Виталию Куренному, я хотел бы отметить, что в перспективе Финка основной недостаток гуссерлевского метода заключается не в исторической, а во внеисторической ограниченности. Поскольку «история» и «философия» в данном контексте сближаются Финком почти вплоть до отождествления, постольку позитивизм, психологизм и сциентизм как нечто внефилософское (в глазах Финка) задают внеисторическую и именно поэтому «неподлинную» ограниченность феноменологии. С этой точки зрения, феноменология могла бы преодолеть этот недостаток не посредством выхода за пределы своей исторической ограниченности, а как раз наоборот — посредством «приобщения» к действительной исторической ситуации, определяемой философской традицией.

Я допускаю вслед за Георгием Чернавиным, что основное расхождение между Гуссерлем и Финком произошло не по теоретическим вопросам, а на уровне мотивации философской деятельности. Но, приняв этот тезис, придется снова признать, что предполагаемый им подлинный мотив критики Финка в публикуемом тексте затемнен и даже оттесняется на второй план. Так, проводимая в «Элементах» атака на гуссерлевский «пафос работы» мотивируется не столько противоположным пафосом экзистенциального перерождения субъекта, сколько гегельянским акцентом на систематической завершенности понятия (2, 52), пусть и необходимо опосредствованной историей его незавершенности или становлением.

В самом деле, пафос совместной работы у Гуссерля носит антисистематический и в этом смысле «антиспекулятивный» характер, поскольку предполагает, что исследование, трансцендируя индивидуальное усилие, по своей сути остается принципиально незавершенным. Финк, как гегельянец, мог видеть здесь дурную беско-

2. Ср., напр., характеристику метода эпохэ в «Идеях»: «Никто не станет смешивать эту ерקה, о которой речь идет сейчас, с такой, какой требует позитивизм, сам же, в чем мы могли убедиться, нарушая свое требование. Сейчас дело вовсе не в выключении всех предрассудков, замутняющих чистую дельность исследования, не в конституировании „свободной от теорий“ и „свободной от метафизики“ науки на путях возврата любого обоснования к непосредственным данностям и не в средствах достижения подобных целей, о ценности каких не встает и вопрос» (Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М.: ДИК, 1999. Т. 1. § 32).

нечность, «безбрежное разворачивание» данного знания, преодо-
леваемое лишь целостностью «спекулятивного понятия». Но эта
целостность, как и трансцендентальная форма критики Гуссерля
в «Элементах» («спекулятивное понятие открывает условие воз-
можности аналитического понимания» (3)), имеет своей предпо-
сылкой как раз идею последнего основания.

ГЕОРГИЙ ЧЕРНАВИН

В своей реплике я хотел бы предложить несколько полемиче-
ских тезисов. Все они будут касаться того, как нам здесь и сейчас
(в русскоязычном пространстве, в ситуации вытеснения феноме-
нологии «более актуальными» философскими дискурсами) име-
ет смысл воспринимать «Элементы» Финка.

Начну с негативного определения — с картографии тех тупиков,
которых стоит постараться избежать. Второстепенными и уводя-
щими в сторону я считаю вопросы о том, верен ли Финк духу (гус-
серлевской) феноменологии, справедлив ли он в своей критике
и удастся ли ему «преодолеть» учителя. Они кажутся мне не толь-
ко малозначимыми, но в некотором смысле контрпродуктивными,
поскольку направлены на то, чтобы упорядочить историю фено-
менологического движения, а затем «сдать ее в архив».

Так ли уж важно, по гамбургскому счету, кто кого «преодолел»,
кто к кому был несправедлив и даже кто кому хранил верность?
Как это формулирует в своей реплике Андрей Паткуль, «дело
здесь вообще не в именах..., а только в радикальности феноме-
нологии» или «верности самим вещам» (см. также реплику Анны
Ямпольской). Важны те феноменологические достижения, кото-
рые мы в тексте Финка можем найти (поскольку, как справедливо
отмечает Михаил Белоусов, «феноменологический метод носит
перформативный характер»). И я рискну утверждать, что одним
из ключевых таких достижений стало столкновение этоса фено-
менологической работы и ее исходного импульса.

Виталий Куренной и Михаил Маяцкий обращают внимание
на «денатурализацию смысла», «выявление самопонятностей» как
на фигуру мысли, характерную для феноменологии. Мотив «про-
блематизации само собой разумеющегося» становится особенно
заметен в 1930-е годы как в рукописях основателя феноменоло-
гии, так и в заметках его ассистента; он характерен прежде всего
для той совместной философской работы, которую практиковали
эти два мыслителя, а не для кого-то из них в отдельности. Филосо-
фия, построенная по принципу совместно практикуемого «остра-

нения», выходит за рамки удовлетворения индивидуального философского тщеславия — именно здесь стоит искать общую для Гуссерля и Финка почву.

Евгения Шестова справедливо отмечает:

Совместная феноменологическая работа для Финка выстраивается не только как накопление результатов феноменологического исследования, но и прежде всего как побуждение к исследованию и разрушение самопонятностей, в том числе и в языке.

Финк ловит Гуссерля на слове (например, на слове «наука», или «интенциональность», или «дескрипция») не для того, чтобы «поправить» его, а, скорее, так, как мы сами ловим себя на слишком поспешных, «готовых» словах. Приостановить автоматизм феноменологии — вот первоочередная задача для самой феноменологии.

Текст Финка, на мой взгляд, заслуживает внимания прежде всего потому, что позволяет заявить один из фундаментальных мотивов феноменологической философии (или характерную для нее «позицию», как это формулирует Григорий Юдин), а именно мотив «непонятности само собой разумеющегося», мотив «приостановки» мнений и в первую очередь своих собственных мнений о том, что такое философия.

Для феноменологического проекта принципиально важен этос со-философствования, совместной работы, но не менее важен и исходный импульс: всплеск напряжения между само собой разумеющимся и очевидным (см. заголовок эссе Анны Шиян). В «Элементах» Финка вновь встречаются этос и импульс, в результате этос феноменологии подлежит «остранению». Финк спрашивает покойного учителя (а на самом деле самого себя): может ли философия строиться по принципу совместного исследовательского проекта? что значит работать в философии? Отвечать же на эти вопросы придется нам.

Михаил Маяцкий

Сказано немало. Уже сам разброс в прочтениях недвусмысленно указывает на интерес и богатство текста. Невольно реагируешь на тех, кто сам отреагировал эмоционально, хотя в таких случаях получается, что субъективность и своеобразие ученика Гуссерля бичуется произволом несогласного читателя.

Виталий Куренной возмущен не столько критикой, сколько ее отсталостью. Однако утверждать, что настоящая критика феноменологии и ее развитие осуществляются (не в такой отстойной

форме, как у Финка) преимущественно в сферах культур-социологии и культур-философии, довольно странно.

На мой взгляд, для такого утверждения оснований нет. Много феноменологических, что этим словом ни называй, исследований проводится в психологии (психиатрии, психоанализе...), теологии, эстетике, гуманитарной географии, однако феноменология участвовала и участвует и в общефилософских дебатах, например, служит образцовым оппонентом для спекулятивного реализма. Что Финк в 1940 году спорит с Гуссерлем (и поэтому, конечно же, сам с собой) на поле «чистой» философии — в этом нет, кажется, никакого криминала. А в послевоенном развитии он, так сказать, наверстал упущенное и пошел в мир, в социум. Далее утверждается:

Парадоксальным образом Гуссерль продолжает оставаться знаменитым современным философом в той мере, в какой его наследие стало излюбленным предметом той самой исследовательской практики, которую он и отрицал, то есть практики историко-герменевтических исследований. Более ироничной судьбы философской программы Гуссерля трудно себе представить.

Я вижу здесь не иронию, а только еще одну грань наивности Гуссерля: его убежденность в том, что в результате радикальной философской революции он встанет над дракой, займет в строгом смысле слова метафилософскую позицию, что его сверхфилософия, придя *после* прочих, разместится *над* ними. Он поэтому логично «отрицал» или запрещал подход к его окончательной философии бесконечных задач лишь как к «одной из» философий.

Феноменология все же сумела стать и *программой* разнообразных исследований. Ну а то, что при этом она с самого начала и по сей день остается предметом историко-философского или «историко-герменевтического» интереса, — что здесь удивительного? Мне казалось, мы давно и надолго расстались с идеологией «понимать автора так, как он понимал сам себя».

Не хочется повторять всуе эпиграф к «Братьям Карамазовым» — и тем не менее: если бы феноменология так и ограничилась гуссерлианством, она бы навсегда осталась зерном, намертво задушенным собственной риторикой и «схоластикой» (если припомнить слово, так рано примененное и столь часто применявшееся в ее (само)критике), но она, к счастью, дала урожай разнообразных и порой странных плодов, в которых зерно не всегда было склонно опознать свою генетику.

Занятие философской рецепцией часто приводит к путанице: толкование, которое нравится, кажется справедливым, и наобо-

рот. Однако простительное смешение принимает забавный оборот, когда речь заходит об «авторизованной» интерпретации или о «верном ученике». Финк понимает учителя правильно до тех пор, пока мы с ним согласны (разве не его Гуссерль считал чуть ли не своим *alter ego*?); как только он решается критиковать, мы сразу начинаем видеть в этом злонамеренность, тлетворное влияние Хайдеггера, невежество, глупость...

Не думаю, что Анна Шиян смогла вполне избежать этой ловушки. В завершение своего эссе она, выражая надежду на то, что молодые (!) философы не слишком легко поведутся на критику Финка, напутствует их: «Именно в споре с авторитетами и в обосновании собственной позиции рождается подлинное критическое мышление». Под «авторитетами» она имеет в виду прежде всего самого Финка, однако тот наверняка горячо поддержал бы Анну: в споре с учителем он, тридцатипятилетний ученик, пытался не только обосновать собственную позицию, но и сделать нечто большее — освободить феноменологию от тех шор и пут, которые достались ей от основателя.

Не вполне понятна также озабоченность Анны тем, что публикация «Элементов» в «Логосе» *запоздала*: ведь вышло уже столько ученых книг (список ею прилагается), на которые необходимо сделать поправку. Однако «Элементы» выходят на русском еще до издания оригинала, и раньше перевести и опубликовать их было никак нельзя. Впрочем, читатели нашего журнала справлялись, кажется, и не с такими хроно-экзегетическими трудностями.

Андрей Паткуль

«Элементы» Финка, что вполне ожидаемо, многих не оставили равнодушными. Кто-то из высказавших суждения о бунтарском тексте брался защитить Гуссерля от нападков его, как долго казалось, самого последовательного ученика. Кто-то, напротив, пытался оправдать *гюбрис*, насквозь пронизывающую начинание молодого философа. Причем в последнем случае, по моему мнению, речь шла не только и не столько о том, чтобы доказать, что Финк имел право на критику мэтра, даже столь беспощадную. В конце концов, автор «Элементов» не сделал ничего для истории философии из ряда вон выходящего — он просто-напросто повторил троп философского отцеубийства, хорошо знакомый со времен платоновского «Софиста».

В связи с этим вполне оправдан вопрос, который был задан Анной Ямпольской: а что вообще может означать последователь-

ное ученичество в философии, в частности феноменологической? Простое повторение сказанного некогда учителем? Разъяснение его доктрины непосвященным с целью обратить их в свою веру? Парадоксальным образом, как мы уже давно знаем, наиболее последовательное ученичество состоит в обоснованном посягательстве на мысль учителя — посягательстве, в котором и через которое мысль эта, в свою очередь, только и может быть обоснована. Традиция жива лишь там, где она нарушается.

Куда более важным мне представляется другое — то, что *апологии потребовала наивность Ойгена Финка*, та невиданная наивность, которая и позволяет чувствовать свою безусловную правоту. Наверное, именно такая наивность единственно делает возможным безоглядное воодушевление и является непреложным условием начала любого блицкрига. Здесь я вижу центральное затруднение в интерпретации отношения Финка к Гуссерлю.

В самом деле, первый упрекает второго в том, что его феноменология имеет весьма и весьма узкий горизонт — данный мотив отмечен едва ли не в каждой из реплик. Финк очерчивает вполне узнаваемые границы, дальше которых Гуссерль видеть был просто не в состоянии: позитивизм, сциентизм, психологизм. Хотя от них Гуссерль вроде бы и пытался спасти философию.

Строго говоря, Финк прав. Более того, как отметил Виталий Куренной, эти границы стали известны уже задолго до финковского критического предприятия, в том числе и самому Гуссерлю. Следовательно, поздняя философия Гуссерля дает повод увидеть себя в качестве феноменологической ревизии ограниченности — так, по крайней мере, можно было бы понять соответствующие пассажи в реплике Григория Юдина.

Все это верно. Но насколько серьезно стоит воспринимать обращение Гуссерля к историчности, к жизненному миру и т. д.? Не оказывается ли оно выворачиванием схемы «позитивизм — сциентизм — психологизм» наизнанку, а значит, сохранением и удержанием непреодолимых границ его работы? Да не прозвучит это как оффтопик, однако для меня весьма убедительный индикатор известной правоты Финка — отношение его учителя к немецкому идеализму после Канта: *как считает Гуссерль*, вырос он не на почве проблем математического естествознания, но на почве становящихся наук о духе, что в итоге и обусловило его фантастичность (*Husserliana* VII, 406–412).

Что же именно дает право Финку, *в свою очередь ограниченно-му историческими авторитетами*, безо всякой оглядки критиковать позитивизм, сциентизм и психологизм Гуссерля? На то об-

стоятельство, что Гегель — ключевой представитель «романтического» идеализма, от которого отмежевывается Гуссерль, является для Финка подобного рода авторитетом, обращает внимание Михаил Белоусов. Какими преимуществами обладают Гегель и — также многими опознанный в качестве источника — Хайдеггер? (Важнейший в историографическом плане вопрос о том, кто из них важнее здесь для Финка, придется пока отложить.)

Иными словами, чем Гегель и Хайдеггер по существу лучше Маха или Brentano? Почему данные фигуры могли бы рассматриваться не просто как авторитеты других эпох философии, а как персонажи, позволяющие вскрыть ограниченность любой исторической авторитетности посредством «скептицизма, направленного на весь объем являющегося знания»? С другой стороны, на каком основании «подлинная» историчность (разумеется, не контрабандная историчность позднего Гуссерля) предпочтительнее сферы чистых эйдосов? И является ли невнимание к античности непростительным упущением для философа-феноменолога?

Собственно, в этом мне видятся нерв противостояния Финка Гуссерлю и главная трудность возможных наших его оценок. Михаил Маяцкий прав: дело здесь не в личных отношениях учителя и ученика, а только лишь в радикальности феноменологии, в данном случае — в понимании исторического авторитета и полагаемой им границы. Так что речь идет отнюдь не об именах. Но как раз поэтому противостояние Гуссерля и Финка все еще продолжается.